

Назад, в страшный город

Перевод Р. Григоряна

Наш теплоход стоит на Шербургском рейде далеко от берега. Ночью, когда густые и мрачные тени ложатся на поверхность воды, теплоход светится, как огромный костер во мраке пустыни.

В декабре океан грозен: то он рыча перекатывает громадные волны, то со стоном швыряет их в ночную бездну. Его могучий рев ошеломительно ритмичен. Это — песнь океана. Вот убрали трап, подняли шлюпки, которые белыми птицами уселись на борту корабля. Начинает скрипеть лебедка — поднимают якоря. Море за кормой пенится. Корабль, сверкающий множеством огней, плавно скользит по волнам.

Океан беснуется за бортом, а в ресторане спокойно ужинают. Однако волнение усиливается, и пассажиры, не выдержав качки, один за другим покидают столы.

Я спустился в каюту, где, кроме меня, было еще трое пассажиров. Мои соседи лежали на своих узких койках, отдыхали. Один из них немигающими глазами смотрел в иллюминатор.

«Это либо грек, либо армянин», — подумал я и заговорил с ним по-английски, незнакомец ответил мне тоже по-английски, но произношение было нечистое.

«Грек», — решил я.

— Скажите, а турецкий вы знаете?

— Знаю, но говорить не хочу, — сердито ответил он.

Я промолчал. «До чего нетерпимы стали греки, — думал я. — Чего они хотят, чего добиваются, откуда взялось у них это высокомерие?»

— Может быть, вы думаете, мне приятней говорить по-гречески? — прервав молчание, обратился он ко мне.

— Право, не знаю.

— Нет, приятель, нет. В крайнем случае, я буду говорить по-турецки, но по-гречески — никогда.

Моему собеседнику на вид лет пятьдесят. У него обгоревшие ресницы и следы ожогов на лице, изборожденном морщинами, как вспаханное поле.

Лицо и особенно руки его были в рубцах и мозолях, и весь его облик казался олицетворением тяжких мук. Вероятно, поэтому сразу он производил впечатление очень доброго человека, хоть и говорил резко. Когда мой собеседник поднялся и стал расхаживать по каюте, я заметил, что он сильно горбится. Казалось, его пригнула тяжелая ноша к земле.

— Да, по-гречески я никогда не стану говорить, — повторил он.

Я удивленно, посмотрел на него.

— Лучше всего вообще ни на каком языке не говорить, — отозвался другой пассажир, лежавший на верхней койке.

— Да, уж лучше совсем не говорить, чтобы случайно не вырвалось какое-нибудь греческое слово, — с раздражением ответил первый.

— Но известно ли вам, что во всех европейских языках много греческих слов, — примирительно сказал я, желая как-то успокоить своего попутчика.

— Пропади они пропадом все эти языки, и английский, и все другие, — рассердился грек и, прикурив, бросил на пол обгоревшую спичку.

— Оставьте в покое мой язык! — внезапно вмешался в спор четвертый пассажир.

Судя по всему, это был англичанин, и поэтому казалось странным, что его тронул столь незначительный спор.

Как бы то ни было, через час мы играли в карты и мирно беседовали.

Человек со следами ожогов на лице оказался действительно греком, его звали Продоболос, но он слегка заикался и произнес свою фамилию «Продобоболос». Так мы и стали его называть. Второй пассажир был тоже греком, его звали Балтачис, а третий — тот, которого я принял за англичанина, — оказался ирландцем. Фамилия его была Бремер.

В разгар игры Бремер вдруг взглянул на часы, извинился и стал куда-то поспешно собираться.

— Я скоро вернусь, пойду только накормлю своих дам, — сказал он.

Балтачис остановил его:

— Пожалуй, я тоже пойду взгляну на них.

— Хорошо, пойдёмте, — согласился ирландец, и они вместе вышли из каюты.

Я и Продобоболос удивленно переглянулись.

— Любопытно, что это за дамы? — спросил я.

— Кто его знает, возможно, он везет из Европы проституток: в Америке французенки нынче в моде. А такие мошенники не брезгают никакими средствами, чтобы делать деньги.

Я не успел прийти в себя от удивления, как Бремер и Балтачис уже вернулись в каюту.

— Они очаровательны, — сказал Балтачис, усаживаясь на свое место, — где вы их отыскиали?

— Во Франции, — ответил Бремер. — Они очень дорого стоят, — не знаю, повезет ли мне с ними в Америке. Слишком уж разорительны расходы.

— Продолжим игру, — предложил Балтачис.

Я молча наблюдал за Продобоболосом. Его раздражало от возмущения.

Наконец он взорвался:

— Я отказываюсь играть с торговцами живым товаром! Утром же попрошу капитана перевести меня в другую каюту.

— В чем дело? — удивился Балтачис.

— Это же гнусно — наживать деньги на торговле женщинами. Я не желаю находиться рядом с человеком, который занимается такими грязными делами, — горячился Продобоболос.

— Не понимаю, о чем вы говорите? Какие женщины?

— Я говорю о дамах, которых этот человек переправляет в Америку.

Балтачис и Бремер переглянулись, а потом оглушительно, во всю мощь своих легких, захохотали.

Бремер, давась от смеха, еле выговаривая слова, объяснил ему, что «дамы» — это собачки, которых он везет в Америку, чтобы скрестить с американскими породами.

Продобоболос сразу осекся, смущенно заулыбался и стал просить прощения.

— Ничего, ничего, — отвечал Бремер, — все в порядке, вы мне нравитесь, и я рад, что познакомился с вами.

Все снова сели на места, игра возобновилась.

Внезапно с палубы донесся какой-то шум. Из соседних кают стали выбегать люди. Мы тоже поднялись с мест. Навстречу по коридору неслись пассажиры с искаженными от страха лицами. Кто-то кричал:

— Бегите, спасайтесь!..

В панике люди бросились на палубу. Но куда они могли убежать — кругом открытое море...

Надо было найти кого-нибудь из матросов, узнать, действительно ли нам грозит опасность.

Я поднялся по лестнице на палубу. Меня как будто хлестнули сотней мягких плеток, одежда сразу промокла. На борт хлынули потоки воды.

Я подумал, что в момент опасности лучше находиться на палубе, чем в каютах с наглухо завинченными иллюминаторами.

Вода сбежала, и я успел крепко вцепиться в железные поручни, спасаясь от новой волны.

Мимо меня прошли несколько матросов. На их лицах я не заметил никаких признаков тревоги: все они были спокойны, сдержанны. Впрочем, как знать, может быть, так ведут себя люди, привыкшие иметь дело с грозной морской стихией.

В несколько минут матросы успели закрыть все двери, ведущие в нижние помещения.

Спускаться вниз было уже поздно, я остался на палубе. К рассвету океан разбушевался с невероятной силой, со всех сторон вздымались высокие гребни ревущих волн. Над пенящейся, мутной водой нависли свинцовые тучи. Наш теплоход, как разъяренное животное, метался в разные стороны, то, захлебываясь, погружался кормой в волну, то, подхваченный лавиной воды, поднимался вверх.

Вся команда была на местах: одни на палубе, другие у штурвала, третьи на мостике, у якоря. Словно единый слаженный механизм действовали моряки — эти укротители грозного океана. Как они не походили на тружеников земли! В их движениях — ни тени медлительности, им неведомо чувство страха перед стихией.

Они укрощали грозную силу океана, пожалуй, так же, как труженики земли укрощают разъяренного быка, не видевшего всю зиму солнечного света.

Но если труженики земли прячутся в своих жилищах и ждут, чтобы стихия утомилась, выдохлась, моряки именно в такие минуты, когда она безумствует, вступают с ней в единоборство.

Жизнь, полная опасностей, наложила свой отпечаток на их лица, сделала взгляд жестким и суровым...

Постепенно океан стих, вода снова стала голубой, тучи посветлели, поднялись вверх и рассеялись.

Матросы распахнули настежь палубные люки.

Я спустился вниз, чтобы сменить мокрую одежду. Вслед за мной в каюту вошел Продобоболос.

— А мы уже решили, что вас смыло волной, — воскликнул он, — и очень огорчились. Собирались даже произвести опись вашего имущества. Хорошо, что вы остались живы. Давайте играть в карты.

— Пожалуй, вы правы. Вам действительно не с кем было бы доигрывать последнюю партию.

Бремера не было в каюте. Видимо, он отправился к своим «дамам», вой которых иногда доносился из трюма.

Я и Продобоболос снова поднялись на палубу. Океан уже успокоился. Солнце щедро разбрасывало по его поверхности яркие лучи, что редко бывает в суровые декабрьские дни. Лениво колыхающаяся вода вспыхивала алмазами и, поблескивая, слепила глаза.

Большие рыбыны высывались из воды, подпрыгивали, описывая в воздухе дугу, и снова исчезали в голубой пучине.

Теплоход сверкал белизной, как протертое стекло. Он отмылся во время бури и сейчас, спокойно раскачиваясь, скользил по тихой глади океана.

— Смотрите, какая белая дорожка тянется за нами, — сказал я Продобоболосу.

— За теплоходом?

— Да.

— Я никогда не стану смотреть назад, — резко ответил он.

— Почему?

— Потому, что сзади осталась Греция, а я даже взглядом не хочу возвращаться туда.

— Не могу понять, почему вы так ненавидите Грецию. Это же ваша родина, колыбель искусств и философии.

— Гм... Искусство, философия? — усмехнулся Продобоболос. — Какая там колыбель, какое искусство! Шайка бандитов, во главе с Венизелосом и царем Константином. Больше ничего.

— Почему вы на нее так сердиты?

— Пойдемте лучше играть в карты.

На мостике к нам присоединились Бремер и Балтачис. Мы спустились в каюту и снова принялись за карты.

Во время игры между Бремером и Продобоболосом вспыхнула ссора.

— Вы сказали «пас», — настаивал грек.

— Я этого не говорил, — горячился ирландец.

— Вы обманщик, — закричал Продобоболос.

Ирландец схватил графин и запустил бы им в голову грека, если бы мы с Балтачисом не удержали его. Оказалось, во всем был виноват Балтачис, это он сказал «пас». Продобоболос растерянно улыбнулся и протянул руку Бремеру:

— Простите меня, брат мой.

Ирландец с готовностью пожал руку.

— Ладно, продолжим игру, — сказал он.

Речь снова зашла о Греции, и Балтачис стал поддразнивать Продобоболоса.

— Кто вы такой, чтобы знать цену Греции, цену нашей великой родине?

— О! Я-то хорошо знаю цену нашей родине, — ответил Продобоболос и бросил на стол короля, — мне этот карточный «король» дороже, чем царствующий ныне Константин.

— Послушайте, вы переходите границы дозволенного!

— А вы их уже давно перешли. Замолчите, иначе я не ручаюсь за себя!

— Вы оскорбляете меня.

— Плевать мне на вас и вашего короля! — закричал Продобоболос и сплюнул на пол.

Балтачис взял трость, лежавшую на койке, а Продобоболос, схватив противника за шиворот, потянулся к графину. Мы с Бремером с трудом разняли их.

— Если вы будете продолжать так себя вести, — сказал Бремер, — мы попросимся в другую каюту. С вами невозможно жить.

Греки притихли.

— Мне кажется, что Продобоболос не имел права переводить разговор на личности, — сказал я.

— В том-то и дело, — обиженно проговорил Балтачис, — пусть говорит что угодно, но не задевает моего достоинства.

Продобоболос молча уставился на своего соотечественника. Глаза его стали грустными и виноватыми.

— Вы должны простить меня, дорогой Балтачис, — сказал он, — я имел в виду только царя и бывшего премьера.

— Я не могу простить вас.

Бремер возмутился:

— Вы не хотите простить Продобоболоса! Этого замечательного человека! Значит, он был прав, когда ругал вас и вашего короля.

— Прошу вас, не ссорьтесь. Не простил сегодня, простит завтра, — сказал Продобоболос.

— Удивляюсь вам, — сказал я Балтачису.

В каюте воцарилось тягостное молчание.

— Я еще раз прошу прощения, — тихо сказал Продобоболос.

Балтачис смущенно, не поднимая голову, протянул руку своему недавнему противнику. Играть мы больше не стали. Улеглись на койки, которые мерно раскачивались в такт движению корабля.

Спустя несколько дней, вечером, в коридоре раздался голос:

— Виден Нью-Йорк!

Все бросились наверх. Огромный город светился миллиардами электрических огней.

Крыши нью-йоркских небоскребов упирались в мрачные декабрьские тучи. Корабль быстро приближался к порту. Мы проплывали мимо статуи Свободы. Этот громадный монумент, изображающий женщину с факелом в руке, обращен лицом к Европе, он защищает царство доллара, железа, стали, угля, золота и порока.

Ничто в мире не отражает столь явственно все лицемерие и ложь капитализма, как статуя Свободы.

Когда теплоход вошел в порт, нас ошеломил мощный гул машин, похожий на глухое рычание диких зверей, вцепившихся друг в друга.

Продобоболос стоял рядом со мной и беззвучно плакал. Слезы, капля за каплей, текли по его морщинистому лицу. Он дрожал, как испуганный ребенок, который, однако, не хочет, чтобы взрослые заметили его страх.

— Что случилось, почему вы плачете?

— Случилось страшное. — Грек взял меня под руку и подвел к борту корабля, где нас никто не мог слышать. — Я прожил двадцать семь лет в этом страшном городе, — начал он. — Впервые я приехал в Америку еще юношей. Мои родители умерли, и на родине у меня оставалась только замужняя сестра. Двадцать семь лет назад я приехал в Нью-Йорк, имея много долгов и никаких знакомых, не зная ни одного английского слова.

Первую работу я нашел в конторе, которая занималась развозкой льда, и прослужил там шесть лет. Каждое утро я вставал на рассвете, катал тележку

по улицам, вытаскивал из нее железными щипцами большие куски льда, взваливал их себе на плечи, как восточный кули, и тащил в дом. Надо было до полудня развезти весь лед жителям города. Я получал шесть долларов в неделю. Большую часть из них откладывал на погашение долга и существовал на те гроши, которые оставались.

Я жил хуже скотины: ютился в подвале и по много дней не видел горячей пищи. За шесть лет работы в компании по доставке льда мой заработок увеличился только на пятьдесят центов. Однажды я проснулся среди ночи и почувствовал, что не смогу выйти на работу. Не мог даже одеться — так болело все тело. Я пролежал в подвале целых десять дней. Когда, выздоровев, вернулся на работу, оказалось, что меня уже вычеркнули из списка служащих. Несколько недель я скитался без работы и наконец устроился на металлургический завод. Я чувствовал себя счастливым. Работа была во много раз тяжелее, зато платили втрое больше.

Двадцать один год я простоял у раскаленной печи, плавящей металл. Лицо и руки обгорели так, словно я полвека работал под палящим южным солнцем. За эти годы я скопил три тысячи долларов и решил вернуться на родину, чтобы построить свой собственный домик и дожить свой век в тиши и спокойствии. Я вернулся в свое родное село. Мало кто помнил меня — ведь прошло столько лет! Многие советовали мне купить небольшой участок и так же, как мой отец, заняться земледелием. Но я слишком устал за эти годы и желал только одного — покоя. Все накопленные в Америке деньги я отвез в город и положил в банк, надеясь найти легкую работу и спокойно жить на проценты от вклада. Как маленький, я радовался тому, что больше не услышу утром заводского гудка. Но не прошло и двух месяцев, как началась эта проклятая греко-турецкая война. Все перевернулось вверх дном. Цены на продукты поднялись, драхма обесценилась. Плоды моего двадцатисемилетнего каторжного труда в один день пошли насмарку, я стал таким же бедняком, каким был до отъезда в Америку.

Вот почему я ненавижу Грецию, родину философов. Эта война была нужна богачам. Они наживались на ней.

И вот я снова возвращаюсь в этот страшный город, чтобы провести у раскаленной печи остаток своей жизни... Сейчас в этом грохоте машин, мне чудится скрип костей тех, кого погубил Нью-Йорк.

В воспаленных, с обгоревшими ресницами глазах Продобоболоса был ужас, губы его вздрагивали. Мы пришвартовывались. Матросы спускали трап.

Пассажиры покидали корабль. После всех формальностей в таможене Продобоболос подошел ко мне и, пожимая мне руку, сказал:

— Прощайте, кто знает, увидимся ли мы еще.

Балтачис и Бремер провожали нас шутками...

Я смотрел вслед Продобоболосу, пока он не затерялся в уличной сутолоке города-спрута.